

Константин Станюкович

**Оригинальная**

**Константин Михайлович Станюкович**  
**Оригинальная пара**  
Серия ««Морские рассказы»»

Zmiy

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=165670](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165670)*

*К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 1.:*

*Правда; Москва; 1977*

# Содержание

I	4
II	12
III	18
IV	23
V	34
VI	49
VII	66

# Константин Михайлович Станюкович ОРИГИНАЛЬНАЯ ПАРА

## I

Мне окончательно опротивела жизнь в мебелированных комнатах с их неизменными прелестями: каким-то, им свойственным, прокислым запахом, постоянной сутолокой, звонками, хлопаньем дверей, с присущим каждой мебелированной квартире непременным «беспокойным жильцом», «на днях» уезжающим в Ташкент и приводящим в смущение своей свободой обращения не только юрких, не особенно застенчивых горничных, но даже самую хозяйку – толстую, заспанную, перезрелую рижскую уроженку, отставную камелию средней руки, благоразумно променявшую прежнюю профессию на профессию содержательницы шамбр-гарни <sup>1</sup>.

Я решил искать более тихое пристанище, в виде комнаты «от жильцов», предлагаемой, как часто объявляют в газетах, «скромным, небольшим семейством

---

<sup>1</sup> Шамбр-гарни – мебелированные комнаты (франц.).

одинокому молодому человеку».

Долго шатался я по разным комнатам, пока не набрел на подходящую. Комната была недорогая, светлая, опрятная и – главное – единственная, отдаваемая жильцам. «В остальных, – объяснила мне старая кухарка, – живут господа».

– Немцы? – спросил я, пораженный особенной чистотой.

– Что вы! Какие немцы? – обидчиво возразила старуха. – Русские: муж да жена.

– Детей нет?

– Какие дети!.. – проговорила кухарка. – Детей нет!

– Старики?

– Ну, нет... молодые! Комната преотличная... Всего неделя только, как жилец съехал, чиновник, жениться собрался... Диван новенький, мягкий (при этом она хлопнула ладонью по дивану), можно еще пару стульчиков прибавить...

– Как вас звать?

– Степанидой люди зовут.

– Так я, Степанида, нанимаю комнату. Кому отдать задаток?

– Давайте хоть мне, господ дома нет. А вас как звать? Вы какие будете?

– Зовут меня Иваном Петровичем... Бывший студент!

Степанида еще раз оглядела меня с ног до головы, приняла задаток и примолвила:

– Только, Иван Петрович, чтобы шуму никакого не было... по ночам...

– Насчет этого не беспокойтесь, Степанида. Я сам не люблю шуму...

– И вот что еще – уж вы извините, батюшка, меня, старуху... Вы... (она видимо стеснялась сказать) вы... не пьете?

– Нет.

– То-то!.. – добродушно обронила она, взглядывая своими ласковыми глазами.

– Да вы почему об этом так спрашиваете? Разве нападали на пьяных жильцов?

– Нет, слава богу, этого не было... Но только... А уж вы не сердитесь, пожалуйста! – закончила она, кланяясь и не давая ответа на мой вопрос.

На другой же день, уложив все свое имущество на извозчика, я переехал на новую квартиру.

После шума мебелированных комнат, новая квартира показалась мне просто раем. Тепло, уютно, опрятно, спокойно – ничто не мешало занятиям. Одно обстоятельство несколько смущало меня: рядом с моей комнатой была жилая комната хозяев, но и этот страх близкого соседства прошел после первых же дней. Ни шума, ни сцен. Соседи, как кажется, вставали и ложи-

лись поздно, а я рано уходил из дому, и когда возвращался, снова была тишина. Иногда только женский голос доносился из других комнат мягкими звуками. Ложился я спать тоже среди полнейшей тишины, словно никого не было дома... Женский с контральтавыми нотами голос раздавался за стеной только с вечера. Ежедневно с семи часов в соседней комнате начиналось умывание и одевание: слышался плеск воды, раздавались тихие вскрикивания, затем начиналось шуршанье юбок. Когда туалет приходил к концу, между соседкой и Степанидой начинался обыкновенно разговор вполголоса. Степанидин голос, понижаясь все более и более, принимал какой-то убеждающий шепот; в ответ раздавались раздражительные ответы. Эта непонятная для меня беседа заканчивалась обыкновенно шумом юбок и громким вопросом: «хорошо ли сидит?», на что в ответ получались одобрительные восклицания Степаниды: «Павушка... королева ты моя!» и т.п. Затем по коридору раздавались шаги, и мимо моих дверей проносился легкий шелест шелкового платья; душистая струйка врывалась в мою комнату, затем хлопали дверями, и снова в квартире водворялась мертвая тишина.

Прошло две недели, и мне не случилось увидеть своих хозяев. Признаться, они меня заинтересовали. Странное что-то было в этой квартире. Степанида

вечно шепталась за стеной с хозяйкой, а во время ее отсутствия я несколько раз видел, как она, поджидая барыню, заливалась слезами, но всегда при моем появлении отворачивалась, желая скрыть слезы... Среди ночной тишины по коридору шлепали, бывало, туфли; осторожной, робкой походкой проходил кто-то, и тогда в коридоре начинался какой-то странный разговор. Мягкий, тихий мужской голос о чем-то упрасивал Степаниду, но она обыкновенно отвечала: «Нельзя, родной мой... ложись лучше спать». Но тихий голос так убедительно просил «Степаниду Матвеевну», что старуха не выдерживала и, казалось, сдавалась на просьбы. «Ну, изволь, только, смотри, сейчас же ложись, чтобы она не видала!» – говорила она и вслед затем куда-то исчезала. После одного из таких разговоров я встретил ее как-то на кухне. Она только что вернулась и под платком что-то прятала, но, увидав меня, сконфузилась... Со мной Степанида не заговаривала о хозяевах. Я не расспрашивал. Раз только, подавая самовар, Степанида закинула:

– Нашу видели?

– Нет. А что?

– Ничего. Я так. Полмесяца живете и не видали...

– Разве интересно?

– Как кому! – загадочно проговорила Степанида, обрывая разговор, несмотря на мои попытки продол-



жать его.

– А муж, видно, домосед?

– Да... читать любит... За книжками более... Однако я с вами болтаю, а у меня дело есть...

С тем и ушла.

Кажется, на другой или на третий день после этого разговора я заработался что-то долго. Был четвертый час утра, когда раздался звонок, и по коридору прошумел знакомый шелест платья... За стеной раздался хохот.

– Ну, раздевай меня, няня... Что, вам весело было? – произнесла хозяйка веселым голосом.

– Ах, Зоя Михайловна... И тебе не жаль его?

– Молчи, нянька... Он спит?..

– Вряд ли... Сама знаешь, до сна ли...

– Дурак! – презрительно произнесла она.

Слышно было, как Степанида всхлипывала.

Шуршанье юбок смолкло.

– Жилец хорош собой, няня? – тихо продолжал голос.

– Нет.

– Тоже, кажется, такой же дурак, как и наш! – весело засмеялась хозяйка.

Голос ее понизился, и снова раздался смех.

– Ну, няня, перекрести меня... да поцелуй...

За стеной смолкло.

Я задремал... Вдруг странный шум вблизи пробудил меня. Рядом, за стеной, раздавался гневный женский голос, перешедший в крик. Кто-то бешено затопал ногами. На секунду водворилась тишина, и вдруг что-то свистнуло и – показалось мне – раздался удар хлыста по чему-то мягкому... По комнате торопливо пробежали...

Я вышел в коридор.

У дверей соседней комнаты стояла молодая женщина со свечой в руках... Я взглянул и изумился – такая она была красивая в белом капоте, с распущенными по плечам волосами. Что за прелестные черты, несмотря на то, что они были искажены гневом! В лице – ни кровинки, губы вздрагивали; грудь подымалась; всю ее точно подергивало. Голубые глаза с расширенными зрачками блестели зловещим блеском... Фигура стройная, гибкая... В руке маленький хлыстик, змейкой извивавшийся по белому капоту...

На другой стороне коридора, напротив, в полутемноте стояла маленькая мужская фигурка в плохеньком халате. Совсем молодой человек, худой, с тонкими, изящными чертами красивого лица и большими, темными, кроткими глазами. Эти кроткие глаза сразу подкупили меня в свою пользу, и вся его робкая фигурка показалась мне необыкновенно симпатичной. Он растерянно, робким, ласковым взглядом смотрел

на женщину и как бы умолял ее успокоиться... В лице его было что-то детское и глубоко симпатичное...

Она бросила на меня быстрый, резкий взгляд и быстро скрылась в двери. А он как-то застенчиво взглянул и тихо сказал, улыбаясь кроткой улыбкой:

– Вы извините, мы нашумели, побеспокоили вас... Видите ли: мы заспорили и...

Он опять застенчиво взглянул и прибавил:

– Жена вспыльчивая... Все добрые – вспыльчивые...

Он постоял, как бы в раздумье, несколько времени и тихо побрел на кухню.

– Извините... – прошептал он еще раз, проходя мимо.

Я вошел в свою комнату, разделся и лег спать. За стеной было тихо. Нервы мои были возбуждены, я ворочался с бока на бок и долго не мог заснуть... Мне все слышались за стеной сдержанные рыдания.

## II

Через несколько времени я познакомился с молодым человеком. Это была замечательно кроткая душа. Он иногда заходил ко мне, брал книги и любил вести «теоретические» разговоры, и при таких разговорах оживлялся; тогда его лицо делалось еще милей. Говорил он, не смотря на вас, а глядя куда-то вдаль, и точно говорил не вам, а разговаривал сам с собою; о жене он почти не говорил, а если случалось упоминать, то упоминал с большим уважением.

По вечерам, когда жены не было, он в своем неизменном халатике приходил, садился, сперва застенчиво озирался и долго молчал. Только несколько времени спустя он становился разговорчивее. Я любил его слушать. Говорил он с каким-то восторженным вдохновением. А то, бывало, зайдет он и остановится среди комнаты, задумается... Я любил в это время смотреть на его задумчивое, кроткое лицо, и всегда какая-то жалость сжимала мне сердце... Лицо его было худое, подозрительный румянец играл на щеках, он часто кашлял, схватываясь своими тонкими руками за грудь, и кашель был такой скверный... И каким он чужим казался среди окружающей обстановки! Всегда одет плохо, совсем плохо; сам, бывало, ста-

вил самовары, чистил себе сапоги и добродушно ссорился по этому поводу со Степанидой, которая, казалось, любила его не меньше, чем свою барыню. И комнатка его совсем не похожа была на другие комнаты квартиры. В гостиной, столовой и еще какой-то полутемной, убранной в турецком вкусе, везде была роскошь, изящество, масса дорогих безделушек, цветы, картины, везде заметна была умелая рука любящей комфорт женщины, а у него в маленькой комнатке, совсем позади, какой контраст! Письменный стол, несколько стульев, клеенчатый диван, на котором он спал, и книги... Книгами была завалена вся комната. Книги валялись на окнах, на столе, на диване, на полу... Только большой, роскошный акварельный портрет жены в дорогой рамке висел над диваном и резко выделялся своим роскошным видом. На портрете жена была замечательной красавицей, более молодой, чем теперь; видно было, что портрет снят раньше. Я и забыл сказать: звали моего знакомого Василием Николаевичем Первушиным. Он был математик, определенных занятий не имел, по целым дням копался в книгах.

Однажды я зашел к нему. Жены, по обыкновению, не было дома. Смотрю – ходит он по кабинету, и такое грустное, скорбное выражение в его кротких глазах... Он совсем сконфузился при моем появлении,

ну совсем растерялся... Я недоумевал, но скоро понял причину: на столе стоял наполовину отпитый полштоф и рюмка...

– А жены дома нет! – проговорил он. – Она уехала... Женщина молодая, ей надо веселиться... правда?

Я что-то ответил.

– Что ей дома-то сидеть... Не скучать же...

И он снова заходил.

– Я, – начал он робко, – изредка люблю, знаете ли, немного выпить... Думается шире... мысли какие-то светлые такие идут в голову. Вы этого не пробовали?..

– Нет.

– Право?.. А впрочем не пробуйте... Я все глупости говорю...

И он как-то неловко повернулся, свалил со стола рюмку, которая разбилась, и окончательно смешался и оробел...

Я отвернулся и долго смотрел на портрет.

– Как вы его находите? – произнес он. – Не правда ли, прекрасное лицо?.. Вот взгляните...

И он достал из стола еще несколько портретов и подал мне. Это все были фотографии его жены, их было, кажется, штук двадцать, снятых в разное время в разных позах и костюмах.

– Ну что?

– Фотографии очень хорошие...

– Да... – задумчиво как-то проговорил он, – хорошие, а вот я вам покажу другое лицо! – сказал он, и при упоминании об этом лице его собственное лицо как-то вдруг прояснилось, стало светлее, и в глазах засветился какой-то чудный луч глубокой любви.

Он достал большую фотографию и подал мне. Это был портрет молодой женщины, необыкновенно симпатичной. Что-то знакомое промелькнуло мне в этих чудных чертах необыкновенно милого, несколько строгого лица. Я посмотрел на Василия Николаевича и догадался.

– Это ваша сестра?

– Да, – улыбнулся он. – Мы похожи!.. К несчастью, только лицами! – добавил он. – Чудная душа! Ах, какая это душа, если б вы знали!

Когда он заговорил о ней, я залюбовался на него. Такое благоговение было в его лице...

– Я ее увижу... непременно. Нельзя же... надо наконец... – вдруг проговорил он, думая, по обыкновению, вслух. – Я разузнаю адрес...

В это время раздался звонок.

Первушин видимо оробел. Он быстро спрятал портреты, убрал со стола водку и испуганно взглянул на меня.

– Который час?.. – проговорил он.

– Двенадцать.

– Как рано!.. – обрадовался он и видимо стеснялся моим присутствием.

Я хотел было уйти, как около раздались легкие шаги, и на пороге появилась моя соседка. Она была гораздо красивее, чем тогда, когда я видел ее в первый раз. Шикарное шелковое платье обхватывало ее стройный стан; из-под роскошной шляпки выбивались белокурые пряди; лицо было оживлено и казалось свежее от горевшего на щеках румянца. Она вся улыбалась и внесла за собой какой-то неуловимый, щекотавший нервы аромат. Заметив меня, она ответила на мой поклон самым грациозным, любезным кивком хорошенькой головки. Во всех ее движениях сказывались грация и такт светской женщины.

– Я просто в восторге от Паска <sup>2</sup>! – проговорила она, обращаясь к мужу. – Что за прелесть актриса! какой ум, какая игра! Однако ты, Вася, рассеянный какой... Ты нас не знакомишь? – указала она на меня и подошла ко мне, проговорив: – Зоя Михайловна Первушина.

Я назвал свое имя.

О первой встрече ни полслова.

– Ну, пойдемте, господа, пить чай... Иди же, Вася... Ты здоров?..

---

<sup>2</sup> Паска (1835–1914) – французская актриса. С 1870 по 1876 год играла на сцене Михайловского театра в Петербурге.



Он кротко так взглянул на нее и отвечал:

– Здоров, Зоя... здоров, что мне делается?

Мы пили чай в столовой. Зоя Михайловна говорила без умолку. Она видимо находилась под впечатлением пьесы и игры. Василий Николаевич с любовью слушал жену, и когда она делала особенно удачные замечания, он значительно покачивал головой и смотрел на меня, будто желая сказать: «видите ли, какая она умная и хорошая».

Однако скоро она умолкла, и веселое расположение духа исчезло. На лицо налетела какая-то тень. Она смолкла и задумалась. Первушин беспокойно взглядывал ей в лицо. Я поспешил уйти.



Прошло месяца два. Я редко видал своих новых знакомых. Первушин почти не заходил и не звал меня к себе. За стеной было совсем тихо, и по вечерам я уже не слышал обыкновенных разговоров хозяйки со Степанидой. Оказалось, что спальня была переведена в другую комнату.

Степанида по обыкновению помалчивала. Раз как-то, когда я спросил о здоровье Василия Николаевича, она ответила, что он нездоров. По грустному лицу доброй старухи я догадывался, что там опять было неладно.

– Что с ним?

– Кашляет все.

– Бедный!

– Ну, и она, моя голубушка, тоже бедная.

– Хороша бедная! – заметил я, – веселится, бегают из дому, а он чуть не на ладан дышит.

– Молчите, коли не знаете! – рассердилась старуха.

– Да нечего и знать... Вы-то что так заступаетесь?

– Я-то? Да ведь я вынянчила Зоюшку. Крепостная еще ихняя была. Как же мне не заступаться... И кто же за нее заступится, за бесталанную!..

На старом лице Степаниды видна была глубокая

скорбь, а в словах звучала такая теплая нотка, что я не мог не засмотреться на ее доброе лицо.

– Да ты что на меня уставился? – спросила Степанида, вдруг начиная говорить мне «ты».

– Ничего... Тоже и его жалко.

– А то как же... Такая душа и...

Она не договорила и махнула как-то безнадежно рукой.

Однажды я сидел у себя в комнате, как вошел Первушин. Он совсем осунулся и похудел еще более. Он был не в халате, как обыкновенно, а в потертом черном сюртуке, подал руку и заходил по комнате. Я заметил в нем какую-то странную решимость, вовсе не идущую к его робкому виду. Он ходил и говорил вполголоса:

– Она зовет... Уйду. Надо ж наконец... я не позволю... все, что хочешь, но не касайся сестры. Она святая... Я этого не переносу.

Он остановился, странно оглянулся вокруг и вдруг замолчал. Видимо ему хотелось поговорить, но он чего-то стеснялся.

– Знаете ли что... – начал было он и замахал рукой, как-то печально улыбаясь. – Не то!.. У вас есть вино? – вдруг спросил он.

– Нет.

– Нет – и не надо. Редко две половинки сходятся...

Уравнение, в котором  $x$  равен... чему  $x$  равен?

– Пойдемте-ка, Первушин, прогуляемся лучше.

– В самом деле, пойдемте, – обрадовался он. – Но как же шапка?

– Какая шапка?

– Моя! – робко заметил он. – Она у Степаниды, у этой доброй души, которая всю свою жизнь отдала другим, но стережет мою шапку.

– Так я возьму ее.

Я вышел из комнаты и пошел в кухню. Когда я попросил у Степаниды шапку Василия Николаевича, она спросила: «зачем, куда теперь идти... первый час!» Но когда я настаивал и сказал, что мы идем гулять вместе, она пошла к барыне, скоро вернулась оттуда, дала мне шапку и маленькую записочку от Зои Николаевны. В этой записочке женским неразборчивым почерком были написаны следующие строки: «Вино губительно для здоровья мужа; бога ради не угощайте его и удержите. Он и без того слаб».

Я вернулся и, когда вошел в комнату, Первушин спросил:

– Достали?

– Вот она! – отвечал я.

– Так идемте. Скорей только.

Мы вышли на улицу. Ночь была тихая, лунная, славная. Слегка морозило. Однако мой сосед плотно

кутался в свое худенькое пальто и задыхался.

– Вам тяжело? Поедемте, вон и извозчик.

– Тяжело? Всем тяжело! – как-то задумчиво отвечал он, – а извозчику еще тяжелей. Нет, нет, пройдемтесь... Я редко нынче хожу. Видите, какая славная ночь, как красива луна, и как жить хочется. Вы знаете легенду, почему она побледнела перед солнцем? А звезды? Знаете ли, бывают минуты, когда хочется говорить... ужасно как хочется, а я вообще мало говорю... о себе, то есть...

– Да вы не спешите так, Василий Николаевич, вам вредно.

– А я разве спешу? – усмехнулся он, умеряя шаги. – Когда-то я спешил надеть шлем, но вместо него надел на голову таз, который гораздо более подходит к моей фигуре.<sup>3</sup> Но... Наташа зовет... иная жизнь... К черту эти книги... Что в них?..

Он как-то странно замахал руками и закашлялся.

– Пойдемте куда-нибудь в трактир. У вас есть деньги?

– Есть, пойдете.

Мы вошли в трактир, заняли отдельную комнату и

---

<sup>3</sup> *Когда-то я спешил надеть шлем, но вместо него надел на голову таз, который гораздо более подходит к моей фигуре.* – Первушин намекает на свое сходство с героем романа Сервантеса Дон Кихотом, принявшим, как известно, бритвенный таз за драгоценный шлем Мамбрина.

заказали ужин.

Первушин спросил водки и сразу выпил две рюмки. Я было заметил, что это нездорово, но он только добродушно усмехнулся.

– Верно, Степанида сокрушалась и секретничала об этом с вами? Добрая! Она на меня как на ребенка смотрит. Напрасная забота... Я вот еще рюмку дерну, – усмехнулся он, наливая еще рюмку, – и Степанида ничего не сделает.

Вино быстро действовало на Василия Николаевича. Он оживился. Его глаза заискрились лихорадочным блеском и он, улыбаясь кроткой, чудной улыбкой, быстро, точно боясь, что не успеет, начал мягким, тихим, надтреснутым голосом.

## IV

– Только не думайте, бога ради, голубчик, что я жалуюсь. Я не жалуюсь; жаловаться глупо да, собственно говоря, по совести не на что. Разве может жаловаться звезда, что она светит менее ярко, чем солнце? Мало ли разной твари на свете погибает? Я просто хочу говорить и... буду говорить. Надоест вам, остановите – я не обижусь. Я вообще не обижаюсь.

Он кротко улыбнулся и продолжал:

– Женщина, говорят, в жизни играет немалую роль. И я начну с женщины. Вы догадываетесь, что я говорю о Зое? Встретились мы случайно. Надо вам сказать, что до этого я ни с одной женщиной не сходился близко и, признаться, побаивался их, то есть не то, чтоб боялся, – это, пожалуй, не то выражение, – а испытывал нечто вроде благоговейного ужаса, вроде того, я думаю, какой испытали островитяне, увидав впервые действие пушек. Я любовался ими издали, незаметно, и не боялся только двух женщин на свете – мать и сестру Наташу. Еще надо сказать, что я был застенчив и робок (да и теперь тоже), а к тому же напуган матерью. Хорошая! Она страшно меня любила, и, верно, потому для нее каждая недурненькая девушка, заходившая к нам, была заклятым врагом, если толь-

ко я обращал на нее какое-нибудь внимание. По словам матери, каждая девушка (кроме Наташи, конечно), недурная собой, была сиреной<sup>4</sup>, подходить к которой губительно и опасно для молодого человека, особенно такого «глупенького», каким она нередко называла своего любимого сына.

А брак она рисовала всегда такими мрачными красками, особенно когда Наташи не было в комнате, что, по ее мнению, тот молодой человек, который женится, делает непростительную глупость и непременно погибнет. На этот счет у нее была даже своя собственная теория, и когда она говорила на эту тему, – а тема эта была ее любимым коньком, – то говорила с замечательным диалектическим мастерством. Она меня находила таким совершенством, что ей казалось, будто все барышни имеют на меня виды, а она этого боялась. Понятный эгоизм у бедной, крайне несчастливой с отцом.

Я с детства рос у юбки матери, и как я любил эту славную юбку! Сколько радостей она мне дала, сколько хорошего, честного слышал я из уст матери, прижимаясь к этой самой юбке! Мать нельзя было назвать очень образованной женщиной, но она была ум-

---

<sup>4</sup> *Сирена* – в древнегреческой мифологии – морская нимфа, своим пением завлекающая моряков в опасные места; в переносном значении – обольстительница.



на и кротка бесконечно. Мы с ней почти не разлучались. Смешно сказать: до шестнадцати лет я спал у нее в комнате. Любила она меня с тем страстным эгоизмом, с которым способна любить только мать; она старательно отдаляла от меня всякие, как она называла, соблазны, окружала меня попечениями, думала за меня в житейских делах и точно поставила задачей жизни держать меня как можно далее от житейских дрязг. Я проводил время за книгами и в обществе матери и сестры. Я много учился, много читал и был совершеннейшее дитя в жизни; любой деревенский мальчуган десяти лет имел более житейского опыта и характера, чем ваш покорный слуга в двадцать лет.

Отец сперва на это сердился, потом махнул рукой. Мать была кроткая, но упорная женщина. Вы знаете женские тихие натуры, которые сопротивляются молча? Что с ними сделаешь? К тому же отец сознавал нравственное превосходство матери. Он был совсем другой человек. Гордился своей фамилией (все гербы из герольдии доставал) и был ростовщиком, то есть не имел кассы ссуд, нет, а давал деньги под векселя за огромные проценты. Это я узнал уже позднее, от сестры; сестра очень мучилась этим, да и мать как-то пугливо смотрела на отца. Все его чуждались, и он, как кажется, где-то на стороне свил себе другое гнездо и редко бывал с нами.

Чудная душа была Наташа! Такой правдивой души я не встречал более. Ее все уважали, даже отец; слово Наташи считалось вне сомнений. Как бы в противоположность мне, она обладала независимым характером и замечательной силой воли. К ней точно перешли упорство отца и кротость матери. С матерью она была дружна, но не была под ее влиянием; она много читала, много думала. Ей в то время было двадцать пять лет. Вы видели ее портрет? Хорошенькой ее нельзя назвать, да это название и не шло бы к ней; ее как-то совестно было назвать хорошенькой. В ней была особенная, строгая красота. Лицо спокойное, сосредоточенное, черные глаза, умные и кроткие. Странная девушка! – Из такой породы, я думаю, была Шарлота Корде <sup>5</sup>.

Бывало, она начнет говорить, – говорит так тихо, а сама бледная, губы побелеют. Очень уж близко принимала она к сердцу всякую неправду и ложь. Мать не так любила ее, как меня. Наташа не умела ласкаться и не жалась к юбке матери никогда. Обо мне Наташа часто сокрушалась. «Ты, Вася, какой-то блаженный, бог тебя знает!» – говорила она, сидя у меня в комнате. Я любил все объяснить, взвесить, рассортиро-

---

<sup>5</sup> *Шарлота Корде* (1768–1793) – французская монархистка, убившая одного из вождей якобинцев, Ж.-П.Марата. В либеральных кругах считалась идеалом героической, самоотверженной женщины.

вать; она жила более чувством; я боялся людей, она – напротив; я любил кабинет и спокойствие; она не любила кабинетных занятий; я всегда колебался; она решала быстро... Она закаливала себя, чтоб не быть «барышней», как она говорила; только она не считала себя еще готовой ехать в деревню и быть там учительницей. Она советовала мне чаще бывать в обществе товарищей, но я всегда дичился, робел, конфузился, как-то страшно было. Она крепко любила меня!

Я был на четвертом курсе, когда случилась наша встреча с Зоей, – именно случилась. Я даже теперь помню число, когда мы познакомились: это было четырнадцатого ноября. Мы поехали втроем в клуб.

Я застенчиво бродил под руку с сестрой по залам и с каким-то странным чувством глядел кругом. Я был в клубе в первый раз. В зале было душно; у меня кружилась голова от жары и женских оголенных плеч. После «тетрадок» и вычислений я смотрел на женские лица с жадностью и любопытством двадцатитрехлетнего болвана, прикованного к юбке. Они все казались мне красивыми, милыми и... страшными. Мне так хотелось подойти к ним и в то же время я знал, что я ни за что бы не решился на такой шаг. Я вздрагивал, когда проходил близко женщины, и вместе с тем жадно вдыхал этот одуряющий душистый аромат, который исходил от них.

Глядя по сторонам в этой пестрой толпе, я нечаянно толкнул какую-то даму, проходившую мимо. Я пробормотал извинение, взглянул на нее и обомлел. Вы видели ее? Не правда ли, она хороша? Ну, а три года тому назад она была еще лучше. Мое искреннее изумление, кажется, понравилось ей. Она приветливо улыбнулась и пристально взглянула на мое смущенное лицо. Сестра дернула меня за рукав, и мы пошли далее.

– А ты, Первушин, совсем стал слепым! – нагнал нас один из моих товарищей, бывавших у нас. – Я тебе кланяюсь, а ты ничего не видишь!

Я извинился.

– С тобой, брат, желает познакомиться та дама, на которую ты так загляделся! – проговорил он тихо.

Я растерялся совсем и принял его слова за шутку.

– Без шуток, Первушин. Какие шутки! Эх, ты, красная девица!.. Если хочешь, так отведи сестру и приходи к буфету, я буду ждать.

Я отвел сестру к матушке и хотел отойти, но она пытливо взглянула и спросила: «Куда?» Я вспыхнул и в первый раз в жизни раздражился. «Я не маленький!» – ответил я и пошел.

Торопливо прошел я через толпу и нашел товарища.

– Ну, пойдём! – взял он меня за руку. – Тебя ждут.

Да что с тобою? Ты дрожишь?

Я, действительно, вздрагивал точно в лихорадке, от волнения и застенчивости; очень уж страшно было.

А мы уж подходили, я это чувствовал. Вон она сидит на диване. Я решился удрать. Я было рванул руку, но было поздно.

– Вот та красная девица, с которой вы хотели познакомиться, Зоя Михайловна. Позвольте вам представить ее: Василий Николаевич Первушин.

– Очень рада! – проговорила она, протягивал руку, которую, помню, я как-то странно крепко пожал. – Садитесь. Вот сюда... на диван.

Я совсем растерялся. Она смотрела в упор своими блестящими, смеющимися глазами. Я стоял около, как пень, и не двигался с места.

– Вы, как я посмотрю, рассеянный. Садитесь же подле... вот так.

Товарищ куда-то ушел, и мы заговорили, – вернее, она говорила... Что такое говорила она, я, ей-богу, не помню, но помню, что она хохотала громко, показывая блестящие зубы, глядела на меня подзадоривающим взглядом, который сводит с ума подростков и стариков, и наклонялась к самому лицу так близко, что я сторонился. Скоро, однако, она бросила эту манеру. Она как будто подтянулась и стала относиться ко мне серьезно, с какою-то доброю ласковостью старшей

сестры. И глаза ее, большие синие глаза, перестали смеяться.

Вы вообразите себе неловкого, застенчивого, неопытного юношу, голова которого набита «тетрадами», рядом с блестящей, красивой молодой женщиной – и вы поймете, что в ту пору я изображал из себя довольно забавную фигуру. Я почти не раскрывал рта, и мне хотелось убежать скорей. Но вдруг на меня нашла какая-то отвага, именно отвага отчаяния, и я стал говорить. Я говорил, что я студент, что буду профессором, что дам не люблю, что в клубе в первый раз, и она с таким вниманием, не прерывая, слушала мою болтовню, что, когда я спохватился, мне сделалось стыдно, и я замолчал.

– Продолжайте, продолжайте, – тихо проговорила она. – Что ж вы замолчали?

Но я говорить уже более не мог.

– Что же вы? – тихо переспросила она, ласково держа меня за руку.

– Я... я... не могу!.. – проговорил я.

В это время мимо проходил какой-то изящный молодой офицер. Он кивнул моей даме с такой фамильярностью, что я побагровел; она отвечала тем же. Он, смеясь, подошел к ней и, нагнувшись так близко к шее, что губы почти касались ее, начал шептать. Она расхохоталась и, указывая на меня, отрицательно по-

качала головой, шутливо ударив его по рукам веером. Офицер отошел и, отходя, заметил, смеясь:

– Новый экземпляр?

Она кивнула головой и обернулась в мою сторону. По всей вероятности, лицо мое было глупо до последней степени, потому что вдруг она взяла меня тихо за руку и с умоляющим выражением спросила:

– Что с вами?

Я отвечал, что мне жарко... устал...

– Это был мой брат! – неловко проговорила она, угадав, вероятно, мое настроение.

– Брат? – переспросил я и радостно вздохнул. – Как он на вас не похож.

– Да... не похож... Куда ж вы?

Мне даже послышался в этом вопросе испуг.

– Пора... меня ожидают мать и сестра...

– И вы бежать? Оставайтесь...

– Нет!.. Да... лучше пустите!

Я говорил какой-то вздор, а она слушала его с непонятным мне участием.

– Ну, хорошо, я вас пущу, но только с условием! – сказала она тихо. – Мне бы не хотелось, чтобы наша встреча была последней, Василий Николаевич, и если вы не прочь поскучать у меня, заезжайте ко мне. По утрам я всегда дома до трех...

Она сказала адрес.

– Приедете? – снова спросила она, задерживая мою руку. – Не забудете адреса?

– Еще бы! – сказал я и так пожал ее руку, что она чуть не вскрикнула.

Я быстро уходил от нее в каком-то чаду. Странное ощущение испытывал я: не то страх, не то восторг. Точно я только что ходил по краю пропасти, и мне хотелось снова пройтись. Я припоминал ее лицо, слова.

– Где это ты пропадал, Вася? – спросила меня мать, по обыкновению, ласково, позабыв мой резкий ответ.

– Мы были с товарищем...

– А мы тебя искали! – заметила Наташа.

– Не пора ли, дети, ехать?

– Ах, нет, подождемте, мама... Еще рано! – сказал я.

Мать ревниво взглянула на меня и заметила:

– Ну, хорошо. Мы останемся еще, но только не более часу. Ты, впрочем, как хочешь. Кажется, здесь особенного веселья нет, Наташа?

Сестра молча согласилась с матушкой.

Перед отъездом мне еще раз хотелось взглянуть на Зою Михайловну, и я пошел ее отыскивать. Проходя по столовой, я увидел ее. Она сидела рядом с офицером и громко хохотала; перед ними стояла бутылка шампанского. Я поторопился пройти, но мне показалось, что она меня заметила и... и сконфузилась.



В швейцарской, когда мы надевали шубы, ко мне подбежал мой товарищ и, как-то скверно щуря глаза, заметил:

– Ты, Первушин, счастливец!

– То есть, как это?

– Очень просто. Что это ты таким агнцем представляешься? Ты Зое Михайловне понравился. Она любит таких... зеленых.

И он засмеялся гадким смехом.

– Только, – продолжал он, – ты не зевай, а прямо...

– Что ты говоришь? как ты смеешь так говорить?

– Ха-ха-ха!.. Да ведь Зоя Михайловна – кокотка!

Я так схватил его за руку, что он побледнел и страшно-испуганно взглянул на меня.

– Если ты еще одно слово... я ударю тебя!

С этими словами я бросился вон из швейцарской на подъезд. Там я нашел своих, и мы уехали.

– Кокотка? Не может быть. Он лжет! – повторял я несколько раз и долго не мог заснуть.

## V

Первушин, несмотря на мои увещания, выпил еще две рюмки и продолжал:

– Прошло две недели со времени нашей встречи, а я не решался идти к Зое Михайловне. По правде говоря, я ходил к ней каждый день, но доходил только до ее квартиры, а звонить не осмеливался. С какой стати я приду к ней! Она так, из любезности, просила бывать, мало ли просят, а я вдруг... Нет, ни за что!

С такими мыслями обыкновенно я сходил печальный с лестницы и возвращался домой.

«Тетрадки» мне надоели. Чтение показалось таким скучным. Между строк книги незаметно для меня появлялось молодое, красивое лицо. Я закрывал глаза, желая подолее удержать в памяти дорогой образ, и так просиживал подолгу.

Мать волновалась и тревожно всматривалась в меня, но я отговаривался нездоровьем.

Прошла еще неделя, и я снова начал ходить на лекции, хотя, признаюсь, Зоя более всех профессоров занимала мое внимание. Как-то, при входе в университет, швейцар подал мне маленькую записочку; я взглянул на почерк, и сердце екнуло; я сразу догадался, от кого она. Стало страшно. Я осторожно разо-

рвал конверт и прочитал приглашение Зои зайти к ней.

Нечего и говорить, что я тотчас поехал.

– И не стыдно вам? – ласково покорила она, подавая обе руки.

Она посмотрела мне прямо в глаза. Суровая морщинка на лбу сгладилась. Она вся просияла.

– Отчего же так долго?

В ответ я говорил какую-то чепуху.

Зоя была в отличном расположении духа. Она говорила без умолку, смеялась, трунила над моей застенчивостью, потом показала свое помещение. Квартира была невелика, но убрана роскошно; особенно хорош был ее будуар.

– Какая роскошь! – невольно сорвалось у меня.

Зоя вдруг покраснела. Она, блестящая, изящная, красивая, стояла передо мной с видом виноватого школьника. Слезы стояли в ее глазах.

– Пойдемте в гостиную! – тихо заметила она, взяв меня за руку.

– Что с вами, Зоя Михайловна? Вы... плачете? Я чем-нибудь обидел вас?.. О, простите меня.

– Я? С чего вы это взяли? Я не плачу, и вы меня не обижали! – проговорила она, смеясь. – Вы, Василий Николаевич, как видно, мало знаете женщин... Я просто нервная женщина, вот и все...

Она снова разговорилась. О себе почти не говорила или говорила очень мало, коротко, скорее намеками, но зато расспрашивала обо мне, о моих занятиях, о матери и сестре...

Я, к удивлению, развернулся и свободно отвечал на ее вопросы. Особенно много говорил о сестре и описывал ей Наташу с восторженностью влюбленного брата!

Она слушала, но под конец мои восторженные описания произвели на нее, кажется, тяжелое впечатление. Когда я рассказывал о матери, Зоя задумалась, и лицо ее сделалось такое грустное, что я остановился...

– Нет, нет... говорите... Не обращайтесь на меня внимания... Я люблю это слушать... Так редко со мною говорят...

Мы простились друзьями. Она взяла с меня слово не забывать ее.

Я, разумеется, был влюблен, как только мог быть влюблен застенчивый, впервые влюбленный юнец.

– Заходите же, Василий Николаевич, прошу вас... Знаете ли что? Я с вами становлюсь лучше...

– Да разве вы можете быть еще лучше? – восторженно воскликнул я.

Она вспыхнула до ушей, как маленькая девочка, и взглянула с таким кротким, умоляющим выражением,

что мне стало жутко.

– Зоя Михайловна! Что с вами?.. У вас есть горе?.. Скажите...

– Нет... ничего, ничего... До свидания, мой добрый...

И она крепко пожала мою дрожавшую руку.

Я стал ходить к Зое чаще и чаще и наконец стал просиживать у нее по целым дням. Часто я читал вслух, она слушала, сидя за работой. А то, бывало, она сядет за рояль и начнет петь; славный у нее тогда был голос! Теперь она уж не поет. Нечего и прибавлять, что отношения наши были самые чистые. Я смотрел на нее с благоговением влюбленного и тайно любил про себя. А она? Она просто была неузнаваема. Куда девались ее прежняя манера, ее резкие выражения, громкий смех, смеющийся, жуткий взгляд ее, полуоткрытые костюмы? Она стала какая-то тихая, спокойная, робкая и даже застенчивая; платья носила самые скромные. Она стыдливо краснела, если нечаянно обнажался ее локоть или открывалась шея. Она быстро поправляла рукав или воротник и, точно маленькая, готова была расплакаться, если, казалось ей, я бывал не в духе. Глядя на нее, я считал ее самой скромной и целомудренной женщиной на свете.

Она умела хорошо рассказывать. Из того немного-

го, что она рассказывала тогда о себе, и знал только, что она кончила курс в институте, жила долгое время за границей и что отец и мать ее живут в провинции. О них она говорить не любила и раз на вопрос мой о том, часто ли она переписывается с матерью, отвечала как-то неохотно. Она любила вспоминать жизнь за границей. Италия на нее произвела большое впечатление; она там училась петь, мечтала о карьере артистки, все, казалось, складывалось удачно, но...

– Но, – уныло добавила она, – вышло совсем не так. Больше она ничего не сказала. Я, разумеется, не спрашивал.

Обыкновенно я просиживал у нее до обеда; к обеду возвращался домой. Все были уверены, что я был на лекциях.

Но мать чуяла что-то недоброе и заметно волновалась. Обыкновенно спокойная, ровная, она стала раздражительна, пытливо всматривалась в мое лицо и отворачивалась неудовлетворенная. Чаще стала она говорить на тему о женском коварстве, вызывая обычную добродушную улыбку на лице Наташи. Нередко по вечерам она тихо подходила к моей комнате, чуть-чуть приотворяла двери и заглядывала, не решаясь войти. Я звал ее. Она хитрила, объясняя каким-нибудь пустым предлогом необходимость зайти в мою комнату, и тревожно справлялась о моем здоровье.

Когда я отвечал, что здоров, она, по обыкновению, обхватывала мою шею руками и, заглядывая мне в глаза, пылливо спрашивала:

– Правда?

Но, несмотря на утвердительный ответ, в ее добрых, нежных глазах заметна была тревога. Она грустно качала головой и тихо уходила из комнаты.

Наташа, очевидно, заметила, что я изменился, но делала вид, что ничего не замечает, а между тем я часто ловил на себе ее беспокойный взгляд. Наташа не спрашивала; не в ее манере было мешаться в «чужие дела», как она говорила.

Раз только, когда у нас зашел спор – она очень любила «теоретические» споры – о пожертвовании во имя долга, и я горячо доказывал, что тяжелее всего пожертвовать чувством к женщине, Наташа взглянула пристально на меня и тихо, совсем тихо прошептала:

– Уж не влюбился ли ты, Вася?

– Что за вздор! – отвечал я, вспыхивая.

– То-то! – строго заметила сестра. – Ты – натура несчастная. Полюбишь – пропадешь! Помнишь наши беседы? Как ни тяжело, а приходится побороть чувство, если не хочешь только для себя одного жить!

Она говорила это спокойно, просто, и глубокое убеждение звучало в ее словах. Слова ее не шли вразрез с делом. Она – я узнал от нее после – в это

время сама переживала тяжелую борьбу. Она любила, но отказалась от счастья любви. Любимый человек не откликнулся на ее зов, не шел туда, куда звала его наташина вера.

Хотя Наташа и говорила, что надо «побороть чувство», но тон ее голоса, беспокойные взгляды – все подсказывало мне, что она и сама не верила, что я способен на такое самопожертвование.

«Ты какой-то Василий блаженный!» – называла она меня нередко.

И точно я «блаженный», это слово идет ко мне. Ни силы, ни воли! Так, куда меня бросало, там я и закисал. Мечтатель какой-то. К деньгам я чувствовал полное равнодушие, честолюбия никакого, не знаю, есть ли и самолюбие. Я больше скорбел, но редко возмущался. Жалости много было во мне, а энергии никакой. Трусость какая-то! Иной раз прочтешь книгу – плачешь, а робеешь перед всяким человеком, высказывающим решительно и с апломбом такие мнения, за которые можно краснеть. И дурак дураком стоишь перед ним.

«Из тебя археолог, пожалуй, выйдет! – грустно шутила, бывало, Наташа. – Очень уж ты всего боишься!»

Она рвалась на подвиг, а я? – я малодушно сочувствовал и усиленно зарывался в книжки, точно в них укрывался от страха перед жизнью.



Я продолжал навещать Зою и с каждым днем привязывался к ней сильнее. Я трусил ее блестящей красоты и любил ее с робостью и страстью первой любви. Она умела быть всегда милой, казалось, понимала меня и пугалась, что я мало занимаюсь, но я наверстывал время по вечерам, а дни мы проводили, как два наивные, смешные любовника.

Мы старались как можно более говорить; молчания боялись и даже вспыхивали, взглядывая друг на друга, точно нам было стыдно, что оба мы были молоды, и страсть невольно бросала яркий румянец на наши щеки. Особенно я боялся и, вероятно, боялся оттого, что так часто хотелось броситься к ней, целовать ее лицо, руки. Кровь стучала в виски словно молотом, я стремительно отодвигался и ходил по комнате, считая себя преступником за то, что во мне были такие «нечистые» желания... Это ей, кажется, нравилось и вместе с тем сердило ее. Помню я, как-то раз сидели мы молча. Я глупо смотрел на ее шею и вздрагивал. «Что с вами?» – спросила она, надвигаясь на меня и заглядывая через плечо близко, совсем близко к лицу. Ее горячее, неровное дыхание обжигало меня, и я просто замер от страха, оробел совсем и глупо бросился в сторону, как спуганная птица. Зоя как-то странно, даже сердито усмехнулась и закусил губы, а я, считая себя каким-то недостойным ее негодя-

ем, жалостно глядел кругом, ища шапку, и малодушно убежал. После этого я несколько дней не смел к ней придти.

В один из таких дней я был в театре и после спектакля долго бродил по улицам в каком-то особенно счастливом настроении. Мне думалось в эти минуты, что я не совсем чужой Зоее. Я вспоминал ее слова, ее ласковые взгляды, улыбки, тихое пожатие рук и вспомнил о себе. «Вот, Первушин, и на твоей улице праздник! Знай наших!» – повторял я. Я всегда был мнителен и недоверчив к себе, а тут вдруг я почувствовал какую-то отвагу и гоголем шел по улицам. Я проходил в это время по Большой Морской, в нескольких шагах от Бореля <sup>6</sup>, как вдруг слышу знакомый голос и шаги на лестнице. Я поспешил. Мимо меня проходила Зоя под руку с каким-то полковником. Но та ли это Зоя? Она висела на руке у полковника, громко хохотала и, показалось мне, была пьяна. Полковник, нисколько не стесняясь, усаживал ее в карету. Я подвинулся еще ближе, и, казалось мне, она узнала меня. Карета покатилась, но мне послышался из кареты крик.

Я остолбенел. Я не помню, как я провел эту ночь, знаю только, что вернулся домой утром. Бедная мать

---

<sup>6</sup> ...в нескольких шагах от Бореля... – т.е. популярного петербургского ресторана.

не спала, дожидаясь меня, и при виде меня ужаснулась; должно быть, у меня был расстроенный вид, вдобавок я был без фуражки.

– Вася, что с тобой, родной мой, скажи?

– Ах, мама, не спрашивайте!.. оставьте меня! – сухо отвечал я.

Она раздела меня, уложила спать и, по обыкновению, перекрестила. Я спать не мог; горячие, обильные слезы смачивали подушку, и когда мать пришла ко мне и, присев на кровать, молча стала ласково гладить меня по голове, я припал к ее чудной руке и, обливаясь слезами, робко признался, что люблю... женщину. На мать это открытие произвело ужасное впечатление.

– Кто она, кто эта скверная женщина, которая погубила тебя? – спросила она.

– Она, мама, не скверная... И зачем вам имя?.. Все равно... все кончено.

Но, по правде сказать, сердце мне подсказывало, что далеко не все кончено. Я непременно хотел видеть эту «скверную» женщину. Я вытерпел неделю, но дальше терпеть не мог и пошел к ней.

Степанида, как и всегда, отворила мне двери и пропустила в гостиную. Зоя лежала на диване. Увидав меня, она радостно вскрикнула и бросилась ко мне, но, когда я подошел поближе, она побледнела и оста-

новилась как вкопанная.

– Что с вами?.. Вы нездоровы?.. На вас лица нет! – спросила она.

Я шел с намерением сказать слова упрека, но какой тут упрек! Она не смела взглянуть на меня и стояла, опустив голову, словно виноватая. С минуту длилась эта тяжелая сцена.

– Вы видели?.. – едва слышно проговорила она, не поднимая глаз.

– Видел! – еще тише и еще робче ответил я.

– И вы все-таки... пришли? – сказала она с таким чувством благодарности, что я больше не мог...

Я зарыдал и припал к ее руке...

– Ты меня любишь?

– Разве ты не видишь!

– Меня? – переспросила она совсем упавшим голосом.

– Тебя!..

– Знаешь ли ты, кто такая я?

– И знать не хочу... ты для меня...

– Я ведь содержанка... я – продажная женщина! – вдруг вскрикнула она, отталкивая меня.

Но подите же! Если бы она сказала что-нибудь еще хуже, что мне за дело? Я все так же любил.

– Я люблю тебя, Зоя, а ты? – робко осмелился спросить я.

– Смею ли я?.. – воскликнула она, обливаясь слезами радости и бросаясь ко мне на шею. – Я давно люблю тебя... ты такой хороший! – застенчиво шептала она. – Господи, какое счастье!..

То были счастливые дни...

Зоя совсем изменилась. Она покончила с прошлым, бросила старые знакомства, продала все свои брильянты и перебралась на маленькую, скромную квартиру. Любила она меня с какою-то страстной нежностью; в этой любви была нежная забота матери и страсть любовницы. Она ухаживала за мной, как за ребенком, угадывала малейшее желание, старалась согнать с моего лица всякую тень и нянчилась со мной, как с любимой дитятей. Я снова попал с рук матери на руки любовницы. Опять от меня уходили куда-то всякие житейские дразги. Никакая забота не должна была меня касаться. «Тебе надо заниматься!» – говорила Зоя, отстраняя все мелочи, из моего кабинета сделала какую-то святыню. Бывало, она входила ко мне не иначе, как на цыпочках. И какая веселая была она в то время!

Я и позабыл сказать, что, по моим настояниям, мы обвенчались. Свадьба была самая тихая. Ни отца, ни матери не было на свадьбе; была одна Наташа. Она только раз и видела Зою – они друг другу очень не понравились – и скоро после моей свадьбы исполнила

свою заветную мысль – уехала в деревню.

Я и теперь удивляюсь, вспоминая мою решимость действовать наперекор желаниям отца и матери.

Мать разузнала про Зою и с каким-то ужасом говорила о ней, не называя никогда по имени; в ее глазах такие женщины – развратные, скверные, падшие женщины, прикосновение к которым сквернит человека. Она не считала их способными на чувство и называла лицемерками, губящими людей. Добрая, чуткая, нежная, она в отношении к женщинам, уклоняющимся от дороги добродетели, была безжалостна и жестка и не признавала в них ничего, никакой хорошей черты; все в них, по ее мнению, ложь и разврат, и нет для них достойного наказания! Сама крайняя идеалистка, несмотря на то, что ее чувство было помято самым жестоким образом, мать с пуританской строгостью исполняла свой долг, как она называла, и, отдаваясь нелюбимому человеку, – в отце она сильно разочаровалась и не любила его давно! – считала себя «верной долгу» и имеющей право относиться без сожаления к тем женщинам, которые «торгуют любовью». Странное противоречие! – скажете вы. Но в ней это было логично, естественно, понятно.

Когда я объявил матери о моем намерении, она просто замерла.

– На ней? На этой?..

– Мама, – перебил я ее, – не оскорбляйте ее хоть при мне. Она хорошая женщина. Она так меня любит!

– Вася, милый мой... опомнись... еще есть время!

И она стала уговаривать меня, умолять, рисовать печальную участь.

Но, видя, что ничего не помогает, она ожесточилась и более ни слова об этом не говорила, и просила, как милости, никогда при ней ни слова не упоминать об «этой женщине».

С тех пор бедная мать зачала и на другой день моей свадьбы уехала за границу, где через год и умерла на руках у Наташи, поспешившей к ней приехать. Мне дали знать, но уже было поздно.

С отцом объяснение было коротко. Он тоже знал о прошлом Зои и сказал мне:

– Ты знаешь мои взгляды, и потому я объявляю тебе: если ты женишься на «этой даме», ты нанесешь позор нашей фамилии и... тогда я попрошу тебя прекратить посещение моего дома и не считать себя в числе моих наследников.

Станный человек был отец! Он удивительно дорожил честью и в то же время не считал дурным быть ростовщиком.

Одна Наташа не упрекала, не грозила. Она только грустно, так грустно обняла меня и сказала:

– Что я скажу, Вася? Мы не раз говорили. Будь, по

крайней мере, счастлив, если можешь!

Вот и все, что она сказала.



## VI

Прошел год самой счастливой жизни.

Я сдал кандидатский экзамен. Давно пора было подумать о средствах к жизни, и это меня очень смущало. Я всегда был в этом отношении какой-то «блаженный», совсем непрактичный. Год мы прожили на средства Зои; она и думать не хотела, чтобы я зарабатывал. «Тебе сперва кончить курс надо», – говорила постоянно она и не переставала окружать меня самым заботливым вниманием. А я, признаюсь, и не обращал внимания на то, что у меня и платье новое, и белье сшито, и книги покупаются мне, точно было все равно, в каком я платье и какое на мне белье, книгам я бывал рад, и Зоя знала мою слабость.

А средства Зои приходили к концу, и, когда я кончил курс, она не раз намекала, что теперь моя очередь позаботиться об «уютном гнездышке». Вот в том-то и была моя ошибка. Гнездышка, да такого, какое любила Зоя, я не сумел свить! Зою видимо смущало мое неуменье. Ей хотелось жить, не рискуя потерять нежность кожи на кухне, она любила хорошо одеться и жить в «уютном гнезде» с цветами, жить оседло, спокойно, а не по-цыгански, – обо всем этом я уж после догадался, когда уже было, пожалуй, и поздно! – а я,

напротив, ко всему этому был равнодушен и по рассеянности не замечал даже, на чем я сижу. Это ее даже раздражало.

Знаете ли, есть на свете такие неловкие, добродушные рохли, которые ничего толком не могут устроить, ни к чему приурочиться и живут, точно дети, не думая о завтрашнем дне. Таким людям я советовал бы никогда не жениться, право... Я много работал, перечел много книг, написал длинное исследование о падающих звездах, а составить счастья Зое не мог. Я находил, что самое лучшее – давать уроки, и зарабатывал рублей шестьсот в год, но Зоя находила, что этого мало для гнезда, и входила в долги. Впрочем, эта скучная материя меня и не касалась. Хозяйство было на руках Зои. Она начинала понемногу тяготиться хозяйственными дрязгами.

Она, бедняга, ошиблась, подозревая во мне характер, а именно характера-то у меня и не было. Приобретать на гнездо я не умел, – не то, что не хотел, а просто не умел, – и, признаюсь, никогда и не подозревал, что гнездо обходится безобразно дорого. Сам я человек нетребовательный, мне бы дорваться до кабинета, засесть за тетрадки и слушать, как Зоя поет. Хорошо так! Зоя же находила, что хорошего в этом мало, что это «сентиментально-глупо», что уроки – глупости, что надо место и что нельзя же жить Робинзо-

ном – совсем скучно.

– К чему ж ты учился? – нередко задавала она вопрос. – Разве ты хочешь из меня кухарку сделать? Я этого не хочу!

Я закрывал ей уста поцелуями, но Зоя, видимо, начинала скучать. Вечно вдвоем с таким сурком, как я, действительно было скучно такой женщине, как Зоя.

Она решила сама помочь мне и отправилась, скрыв от меня, к одному из бывших своих покровителей, весьма влиятельному дельцу. Устроилось дело как будто без ее помощи: я получил прямо предложение и приглашался к известному барину. Пришел – и оробел. Он вдобавок меня принял с какою-то насмешливой снисходительностью и разглядывал меня, точно весьма редкий экземпляр, – так я был глуп, неловок и застенчив. Бедная Зоя! Если б она знала, какое скверное впечатление произвел ее муж! Меня посадили и спросили, на что я способен, и я по совести сказал, что едва ли я на что-нибудь способен в том деле, на какое меня приглашали.

– Так зачем же вы просились? – с изумлением спросил меня барин.

– Я вовсе и не просился. Вы сами пригласили меня. «Барин» переглянулся со своим секретарем и заметил:

– Все равно, супруга ваша просила. Вы давно же-

наты?

– Недавно.

– Во всяком случае, я готов предложить вам место в тысячу пятьсот рублей. Дела почти никакого, изредка только помещать заметки в газетах.

Он объяснил, в чем дело, какие именно заметки, и ждал ответа. Разумеется, какой ответ! Я извинился и отказался, недоумевая, как это предлагают такие большие деньги, когда никакого дела нет.

Мы раскланялись, и, уходя, я ясно слышал голос барина, пославшего мне вслед «дурака».

Я понял, что в глазах барина я был дураком, но удивился, когда и Зоя, выслушав мой подробный рассказ о свидании, назвала меня тоже дураком.

Я промолчал и ничего не сказал о том, что мне известно, кто просил за меня. Она тоже об этом умолчала. Тем первая попытка и кончилась.

С тех пор Зоя, кажется, стала считать меня дурачком и решительно не могла придумать, что ей со мной делать. Когда, бывало, я говорю ей нежные слова, когда ласкаюсь к ней, она по-прежнему нежна, ласкова, но когда мясники начинали приставать с просьбами денег, она становилась все пасмурнее.

Наступила осень нашего мира. Дела шли все хуже и хуже; долги росли, а я и в ус себе не дул. Принесу Зое пятьдесят или шестьдесят рублей да и считаю,

что сделал свое дело.

А она, бедняжка, начинала сердиться.

Сперва она подумала, что я ее не люблю, но когда раскусила меня получше, то поняла, что я «блаженный», и стала меня исправлять.

Начались, так называемые на языке супругов, сцены. Сперва шли сцены, так сказать, предварительные, но они меня как-то не донимали, бог уж знает почему, вернее всего, что я их не всегда понимал. Я, бывало, приму порцию «сцен» и после них еще лезу целоваться.

Стала Зоя хандрить. Частенько замечал я на глазах ее слезы.

– Что с тобой, Зоюшка?

– Ты разве не видишь?

– Ей-богу не вижу. Разве ты несчастлива?

– Да разве такая жизнь – счастье?

– Какая? – робко спрашивал я, все-таки ничего не понимая.

Она обыкновенно таращила на меня глаза и называла «блаженным дураком».

Печально плелся я в кабинет и долго ходил взад и вперед, ломая голову над вопросом, как бы перестать быть, в самом деле, дураком?

Стал я искать места и нашел в гимназии место учителя, но оттуда меня скоро выгнали. И там нашли, что

я «неподходящий». Почему «неподходящий» – мне, разумеется, не объяснили, хотя деликатно заметили, что я слаб с учениками и вообще рассеян. И в самом деле, как подумаешь, я был самым неподходящим человеком!

Бедняжка Зоя серьезно захандрила к концу второго года, особенно как за долги чуть было не продали нашего имущества. Она серьезно стала упрекать и пригрозила, что оставит меня, если...

Она точно не умела формулировать свою мысль и потому dokonчила:

– Если ты будешь такой же... дурак!

Я струсил и обещал не быть дураком. Легко было обещать! Но как исполнить это обещание?

Зоя в тот день была в нервном возбуждении и вечером уехала в театр.

Стала она чаще уходить из дому. У нее завелись свежие костюмы, за обедом появлялась некоторая роскошь, у меня явилась новая пара. «Ну, – думал я, – Зоя приучилась хозяйничать» (я в это время зарабатывал до тысячи рублей), и радовался этому сперва. Но вместе с этим Зоя делалась какая-то странная и неровная. Стала чаще сердиться на меня; то, бывало, бранит меня, то со слезами на глазах припадет ко мне, да так и замрет.

Я не понимал, что делалось с бедняжкой, и только

тихо гладил ее несчастную голову.

Временами она переставала уходить из дому. Сидела дома подле меня, просила рассказывать ей свои «блаженные мечты», как она называла мои мечты. И я, бывало, рассказывал ей... Как-то невольно разговор переходил на Наташу, на ее деятельность. Я горячо вспоминал сестру.

Зоя слушала, тихо улыбаясь и задумываясь, и не обрывала меня, как прежде, не называла глупеньким, напротив, становилась ласковей и, крепко прижимаясь ко мне, вся вздрагивая, точно подстреленная птица, она тихо шептала: «милый мой!».

И я снова был счастлив!

Но проходил месяц, другой, Зоя опять исчезала из дому и снова нервничала.

Памятен мне один вечер. Это было зимой. Сидел я у себя в кабинете и читал, как пришла ко мне Зоя. Смотрю на нее: бледна, сама вся дрожит, глаза грустные.

– Вася! Разве ты не видишь?.. – сказала она каким-то отчаянным голосом.

– Что, Зоя? – спросил я, а сердце так и замерло.

– Глупый! Я... я скверная жена... я...

Она не досказала. И к чему было досказывать? Убитый ее вид все досказал.

Мне стало страшно холодно, точно я очутился в

темной пропасти. Теперь только понял я, что принимал я за экономию. Дурак, дурак! Бедная Зоя!

Я глупо молчал, не смея поднять глаз.

Наконец я стал утешать ее. Это ее взбесило.

– Он еще утешает! – воскликнула она, нервно рыдая. – Женщина, которую он любит, говорит, что изменила ему, а он еще утешает! Ты должен бы наказать меня, плюнуть на меня, бить такую женщину, тогда, по крайней мере, я бы видела, что тебе больно, а вместо этого ты же утешаешь! Какой ты мужчина! Ты... тряпка! – добавила она и чуть ли не с презрением взглянула мне прямо в лицо.

Мне... бить!? Эта мысль показалась мне до того неестественной, что я не знал, что и сказать.

– Что ты говоришь, Зоя? Тебе самой разве легко? К чему еще упреки! Если тебе тяжело, значит вперед этого не будет!

– А если будет? – резко крикнула Зоя.

Я окончательно смешался.

– Что ж ты молчишь... говори!

– Если будет... – начал я, чувствуя, что слова с трудом выходят из груди и звучат глухо, – если будет... значит... иначе нельзя, и ничто не поможет.

– Да скажи наконец: добрый ты или глупый?

– И добрый, и глупый, кажется, вместе, Зоя! – тихо отвечал я, не смея взглянуть на нее.



– Хороший ты! – вдруг вырвался из груди ее какой-то скорбный крик, и она стала целовать мои руки.

Мне стало стыдно, страшно стыдно. Она же целует, точно благодарит за что-то. Я отдернул руки. Что было потом – этого не передать. Есть счастливые минуты, их можно только пережить, рассказать их невозможно.

Опять Зоя как будто сделалась счастливой или, по крайней мере, старалась быть счастливой. Снова повела жизнь затворницы и довольствовалась тем небольшим кружком двух-трех приятелей, которые у нас бывали. Она даже пробовала искать работы, ей отыскивали, но это была скучная работа (переписка банковских счетов), и она ее бросила. Я, бывало, предлагал ей развлекаться, поехать в театр вместе, но она упорно отказывалась.

– Не предлагай, Вася. Я боюсь.

– Чего боишься?..

– Блеска, Вася, людского шума. Он щекочет нервы. Ты не понимаешь этого, ты слишком чист, а я... я испорченная. Меня тянет туда... я люблю этот блеск, люблю, когда на меня смотрят, любят... я тщеславна, хороший мой. Нет, нет, останемся вдвоем. Это пройдет, это должно пройти! Ах, зачем у нас нет детей! – вдруг шепнула она, ласкаясь.

Она дивилась мне, дивилась моей жизни, моей бес-

притязательности.

– Неужели тебе хорошо?

– Еще бы! А тебе, Зоя, скажи правду? Ты ведь знаешь – я верный друг.

– Иногда – да, иногда – чего-то недостает, но это вздор, не обращай на это внимания... говори только чаще, что ты меня любишь. Ведь ты сильно меня любишь, или только привык?

– Зоя, Зоя! Разве ты не видишь!

Мало-помалу Зоя, казалось, стала примиряться с нашей серенькой жизнью (я не догадывался, что она пересиливала себя!); сузила расходы и как будто перестала пугаться перспективы скромной бедности. Нас навещали приятели, завелось два-три знакомства с семейными домами. Зоя страстно занялась хозяйством – откуда только у нее умение взялось! – сама бывала на кухне, усчитывала гроши, чтобы свести концы с концами.

Я перестал скорбеть за Зою. Мне она казалась счастливою.

В ту пору случилось следующее обстоятельство: умер мой отец и оставил наследство. На мою долю приходилось двадцать тысяч, но эти деньги я никогда не считал своими, да и не мог считать своими. Уже давно мы так решили с Наташей и, пожалуй, именно благодаря Наташе, и я так решил, – об ней нечего и го-

ворить. Деньгами этими я не считал себя вправе воспользоваться, – ни одним грошом.

Правда, меня несколько смущала Зоя. Не должен ли я отдать эти деньги ей? Но колебания прошли скоро. Я не мог поступить иначе и отправил их Наташе. В ответ я получил от нее горячее письмо, точно я совершил подвиг какой-то. А какой тут подвиг?

Но из-за этих денег и случилась беда. Я об них не говорил ничего Зое, не хотел смущать ее напрасно и сказал, что после отца ничего не осталось.

Однажды, возвратившись с уроков, я увидел Зою такой сердитой, какой никогда не видал. Бледная, губы дрожат, глаза злые.

Я потихоньку пробрался в кабинет. Она быстро вошла вслед за мной.

– Так вот ты каков! – сказала она.

– Что такое, Зоя?

– Еще спрашивает! Дурачок, дурачок, а тоже... ничего не сказал!

– О чем?

– Я все знаю. Я прочла письмо твоего «ангела».

Я потупил голову. Я в первый раз солгал ей и был пойман.

– Что ж ты молчишь? Зачем ты отдал деньги? Ты богач, что ли? – усмехнулась едко она. – Тебя, дурака, сестрица за нос водит, и ты отдал деньги бог знает

кому, зачем?

– Зоя! Эти деньги не могли быть нашими.

– Как же! Я прочла письмо, написано хорошо, даже очень хорошо, но ты понял ли, что ты сделал? А еще говоришь, что любишь! Ты думаешь, мне мила кухня?

Она выходила из себя.

– Зоя, Зоя, успокойся!

– Молчи, дурак! – вдруг крикнула Зоя. – Ты что? что ты? Ты бог знает из-за чего, из-за глупых идей своего «ангела», отнял у любимой женщины возможность быть порядочной женщиной. Это честно, а? Ты видел, что со мной делалось, ты знал, кто я такая, ты видел, как я спотыкалась, но как я, искренно любя тебя, хотела быть честной женой и смотреть всем прямо в глаза. И что ты для этого сделал, что? Пальцем не пошевелил, только плакал, как дурак, и не мог даже заработать столько, чтобы любимая женщина не сделалась кухаркой? Это любовь?

Она говорила эти слова вся бледная, а глаза смотрели холодно, зло.

Я понял, что все кончено.

– Но я кухаркой не стану. Не мне ею быть. Я жить хочу, а не нянчиться с дураком. Слышишь? жить хочу, я говорила давно. И пеняй теперь на себя, если тебе что-нибудь не понравится.

Она кончила свою жестокую речь и, повернувшись,

ушла. В дверях она остановилась, обернулась ко мне, с явным презрением оглядела мою смущенную фигуру, засмеялась каким-то резким, злым смехом и тихо сказала:

– Подлец!..

Эта история ожесточила Зою. Я пробовал, спустя несколько дней, объяснить ей, почему я так поступил, но она холодно взглянула на меня и попросила избавиться ее от всяких объяснений.

Стала она после этого пропадать из дому. Мы переехали на новую квартиру. У нее появились наряды, брильянты... Она перестала стесняться. У нас стали бывать какие-то гости, молодые блестящие офицеры, подозрительные старички, и если я не успевал убежать в кабинет, она знакомила меня с ними, улыбаясь как-то странно, когда называла меня мужем. Я убегал в свой кабинет, в конце квартиры, но до моих ушей доносился нередко гул оргии и пьяный лепет веселых офицеров.

Скверно было мне, но какое право имел я упрекнуть ее? Разве я дал ей счастье? То ли я дал, чего она желала? Я совсем затворился и повел какую-то странную жизнь. Я хотел забыться совсем; я стал читать и пить, пить и читать. И в это время такие светлые мысли бродили в голове, мечталось так хорошо, хорошо... Я совсем забыл действительность и стал

жить другой жизнью, какой-то фантастической. Понемногу я пристрастился к вину, потерял уроки и совсем опустился. Стал трусить Зою.

Она не оставляла меня одного в моей комнате. Она глумилась надо мной ядовито, с ехидством и остроумием умной женщины, называла дармоедом, предлагала мне взять ее на содержание. До этого даже доходило!

Что мог я сказать? И к чему? Несмотря на все это, я втайне любил ее и как еще любил! Подите ж. Мне даже казалось, что она обходилась так со мной, чтобы заглушить свои страдания.

А что она страдала – иначе и не могло быть. Помню, это было год тому назад. Нездоровилось мне, сильно болела грудь, и я прилег на диван. Я не спал, а так, мечтал с открытыми глазами. Вдруг знакомые шаги. Избегая сцены, я закрыл глаза. Слышу: она тихо подходит к дивану, вот подошла совсем близко. Я чувствовал ее дыханье. Я вдруг открыл глаза и привскочил... Она тихо целовала мою руку, обжигая ее слезами.

Я обвил ее шею рукой и ни слова не говорил. Я знал, что мои слова только раздражают ее, а она глядела на меня кротко, так кротко, и грустно качала головой.

– Бедный ты, Вася... Бедный мой! – проговорила

она.

– Что ты, Зоя? Какой я бедный!

Она улыбнулась сквозь слезы и присела около. Целый вечер не отходила она от меня. Какой я «бедный»? Сердце было так полно, мне было так жаль ее!

– А зачем ты пьешь? Разве я не понимаю?

– Я брошу, Зоя! Брось и ты! Это здоровье губит.

– На что оно мне!

Так перекидывались мы словами и долго просидели вдвоем.

Мы оставили квартиру, переехали на другую. Зоя снова пробовала приучить себя к скромной жизни, но эти пробы оканчивались очень скоро, и она снова начинала кутить. Чем более она кутила, тем становилась раздражительнее относительно меня. Наконец однажды она объявила, чтобы я уезжал с квартиры. Я тихо отвечал, что завтра же уеду.

Но – странная натура у Зои! – ответ мой окончательно вывел ее из себя. Она вдруг бросилась на меня... занесла руку... и ударила!

Через полчаса она уже валялась в ногах, просила остаться, и мне стоило большого труда успокоить ее.

Я пил сильнее и сильнее и на все как-то махнул рукой. Но вчера получил от моей ненаглядной Наташи письмо. Она зовет меня в деревню и, если я не приеду, обещает сама меня увезти. По письму видно, что

она подозревает о моей жизни. Зоя прочитала письмо и стала оскорблять Наташу. Это уж слишком... Это... Я не могу...

Первушин кончил. Он был взволнован и несколько пьян. Он было протянул руку к графину, но я его остановил.

– Послушайте, Первушин, вы губите себя.

– Да разве я и без того не пропащий человек? Что я?

Я его старался успокоить и доказывал, что поездка в деревню освежит его, поправит здоровье.

– Только поедете ли вы?

– Поеду! – решительно отвечал он. – Довольно! Скверне так. Непременно поеду и – кто знает – быть может, и Зоя приедет к нам. Ведь она хорошая, как вы думаете? Ведь славная, а? – торопливо заговорил он и закашлялся.

Первушин даже оживился и несколько раз повторял, что непременно поедет. А я тоскливо взглядывал на Первушина. Худое, с чахоточным румянцем лицо, впалая грудь и скверный кашель – все говорило, что вряд ли ему придется начать новую жизнь.

Мы вышли на улицу.

– Вы разве не домой? – спросил я, когда он стал прощаться со мной.

– Нет... Зайду к одному приятелю. Пусть ее гнев



пройдет. Зачем раздражать бедную Зою!

## VII

Прошло три дня. Первушин не возвращался. В первый вечер Зоя Михайловна уехала куда-то из дому, но на другой день попросила меня к себе. Я пришел к ней. Она извинилась, что потревожила меня, и спросила:

– Где муж, не знаете ли вы?

Я сказал, что, когда мы расстались, он пошел к приятелю.

– Пил он? – тревожно спросила она.

– Немного.

– А я ведь вас просила! Ему так вредно пить! – с упреком проговорила она.

– Василию Николаевичу в деревню бы надо, Зоя Михайловна, – сказал я.

– А что, что? – испугалась она и вся вытянулась, словно боясь проронить слово.

– Плох он. Ему серьезно лечиться надо.

– Плох... – едва слышно повторила она, – плох...

Я не ожидал, что она так примет известие. Куда девалась ее улыбка? Она вся как-то замерла; глаза стали печальные.

– Но где ж он... где Вася? – вдруг встрепенулась она. – Степанида! Степанида! Поезжай, родная, ско-

рей... отыщи барина, вот адрес... Нет, лучше вы, прошу вас.

Она умоляла меня сейчас же ехать. Я, конечно, не заставил себя просить и уехал по адресу, но там я его не застал и ничего не узнал.

– Ну что? – встретила она, трепетно ожидая ответа. Я рассказал ей о своей неудаче.

– Господи! Не случилось ли чего?

Она была в ужасном страхе. Бледная, взволнованная, она то нервно ходила по комнате, то садилась и, опустив голову за руки, тихо рыдала.

Наступил вечер. Мы молча сидели вдвоем и прислушивались: не позвонят ли? Сколько раз ей казалось, что звонят, она стрелой летела в прихожую и возвращалась печальная: никого не было. Но вот раздался робкий звонок. Мы бросились в коридор, но Степанида предупредила нас.

Первушин робко, словно виноватый, пробирался тихими шагами. При свете лампы он казался какой-то тенью живого человека, – такой худой, бледный, прижатый. Только глаза его лихорадочно горели.

Зоя Михайловна бросилась на него с каким-то радостным стоном.

Она не могла говорить. Она смеялась и плакала в одно и то же время. А Первушин совсем оробел. Он глядел на нее своими большими, кроткими глазами и

точно не понимал, во сне ли все это или наяву.

У Первушиных, казалось, наступил новый медовый месяц. Надо было видеть, как ухаживала за ним Зоя Михайловна! Нечего и говорить, что она не отходила от него ни на шаг. Но бедняк уже слег. Изнурительная лихорадка уложила его в постель. Лучшие доктора были призваны к нему; они стучали в грудь и скверно качали головами.

Зое Михайловне они ничего не сказали, но мне объявили, что надежды никакой, и жить ему осталось очень мало, несколько дней. Чахотка в последней степени!

Я сидел у себя в комнате, когда ко мне заглянула Зоя Михайловна.

– Ну, что, что они сказали? – едва выговорила она, со страхом заглядывая в мое лицо.

Я обнадежил ее, как умел. Она тихо взяла меня за руку и с умоляющим видом спросила:

– Вы правду говорите? Он будет жить? Ведь будет?

– Конечно.

Она ушла от меня с надеждой.

А Первушину с каждым днем становилось хуже; он подолгу забывался, силы, видимо, оставляли его; доктор ездил два раза в день и, уезжая, предупреждал меня, что дело скверное.

Грустная тишина была в комнате больного. Перву-

шин, исхудалый, без ропота, без жалоб, лежал на своем диване. Зоя не оставляла его ни на минуту и все время проводила около мужа; она сама похудела, осунулась, глаза ввалились. Я предложил было заменить ее, но она решительно отказалась. Первшин молча глядел на Зою своим кротким взором, и на лице его была такая счастливая улыбка...

– Знаешь ли, о чем я тебя попрошу, Зоя, милая моя! – как-то однажды сказал он.

– О чем, голубчик?

– Попроси Ивана Петровича написать телеграмму Наташе. Пусть Степанида снесет. Я бы желал видеть сестру.

– Еще бы, сейчас! – проговорила Зоя и вдруг испуганно прибавила, – а тебе разве хуже... ты...

Она боялась досказать.

– Нет, Зоя, мне лучше. Ты не пугайся, милая моя. Мне просто хочется взглянуть на Наташу. Я верю, что я буду жить, мне хорошо.

Но он вдруг закашлялся, беспомощно прижимая маленькие руки к своей впалой груди.

– Все это пройдет, – опять заговорил он. – Я так счастлив, так счастлив... как же не жить? За что умирать? – шептал он, протягивая прозрачную руку Зое.

Зоя тихо сжимала ее в своей, а сама отворачивалась, чтобы скрыть слезы.

Когда телеграмма была написана и отправлена, Первушин, видимо, обрадовался.

– Вы увидите, – обратился он ко мне, – какая Наташа славная. Ты, Зоя, полюбишь ее. Она добрая. И ты ведь добрая!

Но что сделалось с Зоей? Она глухо рыдала, прижав к руке Первушина.

– Зоя, что с тобой, что?.. – растерянно спросил он.

– Простишь ли ты... меня?..

– Простить? – он кротко улыбнулся. – За что тебя простить, глупенькая? Не плачь же. Мы будем счастливы, уедем отсюда с Наташей в деревню. Там хорошо так. Много воздуха, лес, цветы.

И Первушин начал мечтать о том, как он начнет новую жизнь, как он поедет.

– Еще неделю, другую, а там и поедем, правда?

А голос его все слабел и слабел. Ему было трудно говорить много. Он задыхался.

Зоя сидела, как убитая.

Наступил вечер. Василий Николаевич заснул. Мы молча сидели около. Степанида тихо всхлипывала в коридоре. Мерно тикали часы. Вот пробило восемь, девять. Первушин кашлял. Ему дали лекарство.

– Какой чудный сон, Зоя! Зоя, ты здесь?

– Я здесь.

– Где ты, Зоя, Зоя, Зоюшка! – жалобно спрашивал

Он.

Она нагнулась к нему, но он ее не узнавал и все повторял:

– Зоя, Зоя... не оставляй меня.

Зоя едва удерживала рыдания.

Скоро больной пришел в себя. Ему стало значительно лучше. Он присел на постели, попросил чаю и так бодро говорил, что Зоя стала надеяться.

– Видишь, мне совсем хорошо. Завтра, пожалуй, и встать можно, Иван Петрович? А ты, Зоя, усни, голубушка! Ты устала. Экая славная ты натура, Зоя, золотое сердце какое у тебя!

Первушин попросил есть и сказал, что теперь уснет. Скоро он заснул.

– Ему лучше, правда? – шепотом спрашивала меня Зоя.

– Гораздо. Вы отдохните-ка.

Она села в кресло и скоро заснула, взяв с меня слово, что я ее разбуду, как только больной проснется.

Первушин спал до утра. Но утром он стал метаться. Я разбудил Зою. Она едва успела подбежать к постели, как вдруг Первушин приподнялся, открыл рот, жадно глотая воздух, опустил голову, тяжело прохрипел, вытянулся – и в комнате водворилось мертвое молчание.

Зоя бросилась к нему, заглянула в глаза. Они кротко глядели по-прежнему. Я тихо отвел ее от трупа. Она

не противилась и послушно отошла. Я закрыл покойнику глаза.

Я занялся распоряжениями насчет похорон. Зоя ничего не могла делать; она сидела целые часы молча. Она точно окаменела. Печальное выражение застыло у нее на лице, да так и осталось. Она не выронила слезинки и, когда о чем-нибудь ее спрашивали, отвечала автоматически.

На третий день приехала Наташа. Покойный недаром ею восхищался. Она вошла веселая, здоровая, свежая (мы не упоминали в телеграмме, что брат болен), но, когда увидела наши лица, бросилась прямо в гостиную и припала к брату.

С Зоей она обошлась холодно. Но Зоя, казалось, ничего не замечала и по-прежнему сидела у себя в комнате. На похоронах Зоя шла молча, опустив голову. За это время она постарела. Она была по-прежнему хороша, но горе уж наложило на нее свою печать.

На другой день Степанида пришла ко мне и объявила, чтобы я искал себе квартиру.

– А Зоя Михайловна?

– Мы уезжаем. Продадим только вещи.

– Куда?

– Не знаю, – печально ответила Степанида.

В тот же день в квартиру стали являться покупа-



тели: маклаки <sup>7</sup>, еврейки, и через день квартира опустела. Зоя Михайловна продала решительно все: мебель, вещи, все свои платья.

– Только черное, шерстяное, голубушка, на себе оставила. И все куда-то торопится и не торгуется во все! – говорила Степанида.

Я уложился и пошел проститься.

Она сидела в пустом кабинете. При моем появлении она вздрогнула.

– Это вы? – обернулась она и поднялась с ящика.

– Я пришел проститься, Зоя Михайловна.

– Прощайте. За все спасибо вам. Дай вам бог всего хорошего! – сказала она и крепко пожала мне руку.

– А вы?.. Вы уезжаете?

– Да.

Мне хотелось было спросить у нее, что она думает делать, где жить, но она, очевидно, не желала продолжать разговор. Я пожелал ей душевного мира и вышел из комнаты.

1877

---

<sup>7</sup> *Маклак (устар.)* – посредник при мелких торговых сделках, перекупщик.